**Игорь Сухих**

**Сказание о тритоне (1958—1968. «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына)**

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

Памяти Аристида

**Опубликовано в журнале:**[**«Звезда» 2001, №12**](http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/12/)

***КНИГИ ХХ ВЕКА***

Ивановича Доватура, одного  
из персонажей “Архипелага ГУЛАГ”

|  |  |
| --- | --- |
|  | И — пусть на свете не жилец —  Я — челобитчик и истец Невылазного горя.  Я — там, где боль, я — там, где стон, В известной тяжбе двух сторон, В старинном этом споре.                           В. Шаламов. 1954 |

Говоря об этой книге, все время приходится бороться с желанием шагнуть за переплет. Работа над динамитным текстом в Укрывище, сотни помощников-невидимок, эффектная, опасная и яростная борьба с идеологической машиной, арест рукописей и публикация книги в Париже (декабрь 1972 г.), ожесточенная травля “литературного власовца”, арест автора и высылка на “литературном самолете” в ту же Германию, куда в начале двадцатых шли “философские пароходы” с русскими философами, писателями, учеными.

История бодания теленка с дубом подробно рассказана самим автором. Поэтому попробуем по возможности остаться в пределах текста, не подменяя поэтику — социологией, авторскую позицию — биографией, содержание — творческой историей, понимание — эмоциями.

Генрих Белль (он-то и вывез рукопись “Архипелага” на Запад) сравнил структуру романа “В круге первом” с собором. Ориентир угадан точно. В недавно опубликованной (2000 г.) второй части “очерков изгнания” “Угодило зернышко промеж двух жерновов” автор рассказывает о работе над “Красным колесом” на архитектурном языке: говорит об общей конструкции, каменной кладке этажей, укреплении краев тома и Узла — “условие, так понятное каждому строителю”.

“Архипелаг ГУЛАГ” в еще большей степени провоцирует строительные аналогии. Это — книга-храм с четким и разноплановым членением томов, частей и глав, блоками жизнеописаний и житейских историй, бесконечным количеством фактов-кирпичей, концептуальной арматурой, причудливыми метафорическими завитками, башенками эпиграфов, пристройками посвящений, предисловий и послесловий, подробными чертежами оглавлений и словариками-путеводителями.

Действующие, спорящие, психологически проработанные традиционные романные персонажи, на которых строился образ “райского острова” в романе “В круге первом”, оказываются неприменимы при изображении других островов и адских кругов. Подлинная жизнь Архипелага сплющивает, искажает до неузнаваемости обычную человеческую психологию (мучительная тема В. Шаламова). Тайные свидания и любовные страдания в шарашке, метания Иннокентия Володина, инсценированный суд над князем Игорем выглядят на фоне “колымского трамвая” (группового изнасилования), лубянских допросов и московских процессов дурной литературностью, нестерпимой фальшью.

Требовалась документальность. Но трансформированный мемуар, точка зрения включенного наблюдателя — тоже не давали решения задачи, поставленной Солженицыным. Любой индивидуальный опыт оказывался слишком мал и локален перед трагической громадностью произошедшего. Увеличение числа точек зрения, монтаж воспоминаний и записок были бы возможными (в такой манере через несколько лет А. Адамович и Д. Гранин напишут “Блокадную книгу”), но сталкивались с другой отчетливо сознаваемой автором опасностью. “Рассказать о внешней однообразной туземной жизни Архипелага — кажется, легче и доступней всего. А и труднее вместе. Как о всяком быте, надо рассказать от утра и до следующего утра, от зимы и до зимы, от рождения (приезда в первый лагерь) и до смерти (смерти). И сразу обо всех — обо всех островах и островках. Никто этого не обнимет, конечно, а целые тома читать, пожалуй, будет скучно” (ч. 3, гл.7). — “Но я чувствую, что рассказ мой становится однообразным. Я, кажется, повторяюсь? Или мы об этом уже где-то читали?..” (ч. 3, гл. 20).

Написать объективную научную “Историю государства советского” Солженицын тоже отказывается. “Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не досталось читать документов. Но кому-нибудь когда-нибудь — достанется ли?.. У тех, не желающих вспоминать, довольно уже было (и еще будет) времени уничтожить все документы дочиста”. Кроме того, документ, факт как таковой в конечном счете всегда проигрывает образу — феномен, многократно подтвержденный культурной традицией.

Выходом из этого треугольника-тупика (роман — мемуар — документ) оказывается уникальная жанровая форма — опыт художественного исследования.

По-исследовательски дотошна, логически проработана структура книги, призванная в 64 главах исчерпать все грани изучаемого предмета. Научным канонам вроде бы соответствует и апелляция к источникам: 227 информантов, давшие “материал” в рассказах, воспоминаниях, письмах, разнообразные печатные издания, включая даже труды классиков марксизма. Исследовательскую установку четко обозначают второе и третье предисловия книги. “В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий. Люди и места названы их собственными именами. Если названы инициалами, то по соображениям личным. Если не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не сохранила имен, — а все было именно так”.

Но предшествующее первое предисловие дает иной ключ, иную формулу целого. Отталкиваясь от “примечательной заметки” в респектабельном академическом журнале “Природа” о найденном на Колыме в вечной мерзлоте мясе ископаемой рыбы или тритона, которое оказалось вполне съедобным и с удовольствием было съедено “присутствующими” (комментаторы еще проверят, была ли такая заметка), автор превращает ее в живую картинку, дает свою версию эпизода:

“Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки.

Мы — сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей: как присутствующие с ожесточенной поспешностью кололи лед; как, попирая высокие интересы ихтиологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались.

Мы поняли потому, что сами были из тех присутствующих, из того единственного на земле могучего племени зэков, которое только и могло охотно съесть тритона”.

Из этого гротескного, вызывающего не страх и ужас, а горькую усмешку эпизода вырастает интонация книги, ее главные мотивы и художественные принципы.

Сначала предъявлена и обоснована ключевая географическая метафора заглавия, ставшая уже фразеологизмом, фактом русского языка. “А Колыма была — самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент, — почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ зэков. Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую страну, он врезался в ее города, навис над ее улицами — и все ж иные совсем не догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали все”.

Этот образ готовился, носился в воздухе, но не сразу дался в руки.

Еще в тридцатые годы успешно бежавший с Беломорканала в Финляндию Иван Солоневич, автор “России в концлагере” (1936), писал об “империи, королевстве ГУЛАГа”, но находка пропала, растворилась в его мемуарном фактографизме (эта книга обозначила главный жанр лагерной прозы — свидетельство очевидца; по такому пути пошли многие, но не Шаламов и Солженицын).

“Путешествие в страну зэ-ка” (1952) — называлась книга Ю. Марголина.

Образ Колымы как острова, с которого бегут или уезжают на континент, мелькает в “Колымских рассказах” В. Шаламова, но его фрагментарно-новеллистическая поэтика тяготеет к притче, поэтому сквозным у него становится не географический, а традиционно-моралистический символ: лагерь — это ад.

Тот же символ обыгрывался в заглавии и финале первой лагерной прозы Солженицына: “— Да это ад какой-то! — Хоробров смолк, переполненный негодованием. В наступившей тишине, при моторе, ровно работающем по асфальту, раздался ответ Нержина: — Нет, Илья Терентьевич, это не ад. Это — не ад! В ад мы едем. В ад мы возвращаемся. А шарашка — высший, лучший, первый круг ада. Это — почти рай” (“В круге первом”, гл. 96). Но на периферии повествования мелькал и другой, пока не пойманный в фокус образ: “Пишите! — добавил Потапов, и оба засмеялись. Ничего не было естественней сказать так при прощаньи, но в тюрьме это пожелание звучало издевательством. Между островами ГУЛАГа переписки не было” (гл. 95).

Теперь центр и периферия поменялись местами. Обитатели шарашки ехали в ад, но оказались на архипелаге. Предъявленный в заглавии и предисловии-экспозиции символ разветвляется, становится четким внутренним планом книги-собора.

Архипелаг, страна ГУЛАГ имеет свои контуры, просторы, географию: материк Колыма, просто острова, райские острова (шарашки). У него есть свои порты, своя история, дата рождения, писаные и неписаные законы, наконец, свой дух.

И автор предстает, начиная с первого же предисловия, его, Архипелага-тритона, пристрастным и страстным историком-истолкователем. “Идут десятилетия — и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись, полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его и кости его обитателей, вмерзшие в линзу льда, — представятся неправдоподобным тритоном… Свои одиннадцать лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь еще, по счастливому обороту, став доверенным многих поздних рассказов и писем, — может быть, сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса? — еще впрочем живого мяса, еще впрочем живого тритона”.

Логический каркас книги уже в первом предисловии (неполные две страницы) обрастает двумя десятками метафор-иллюстраций, которые будут работать в последующем повествовании. Эти изначальные метафоры приобретают собственную логику, в свою очередь, разветвляются, организуя большие фрагменты — части и главы книги. Так внутри исследовательского каркаса возникает корневая художественная система.

История Архипелага охватывается метафорой рождения-всплытия в блоке из пяти глав в начале третьей части: “Персты Авроры (Архипелаг родился под выстрелы “Авроры”)  — Архипелаг возникает из моря — Архипелаг дает метастазы — Архипелаг каменеет — На чем стоит Архипелаг”. Кольцуется она в последней, седьмой (гл.2): Правители меняются, Архипелаг остается (“Не бывает историй бесконечных. Всякую историю надо где-то оборвать. По нашим скромным и недостаточным возможностям мы проследили историю Архипелага от алых залпов его рождения до розового тумана реабилитации. На этом славном периоде мягкости и разброда накануне нового хрущевского ожесточения лагерей и накануне нового уголовного кодекса сочтем нашу историю оконченной”).

Образ всплывающих из революционной пучины островов Архипелага ведет к метафоре корабля. “Корабли Архипелага” (вагоны для заключенных, машины-воронкЕ) тянут за собой “порты Архипелага” (пересыльные тюрьмы и пункты), из которых “с острова на остров” следуют “караваны невольников” (все главы второй части — “Вечное движение” — объединены сквозным образом-символом).

В этот ряд включается и определение судебных инстанций как машинного отделения (ч. 1, гл. 7), приобретающее собственную логику: “Не всякий, поглощаемый великою Машиной, должен был смешиваться с туземцами Архипелага” (ч. 1, гл. 12) — “В том комочке, который выброшен из машинного отделения суда на этап, осталась только жажда жизни и никакого понимания” (ч.2, гл. 1) — “Одни уходили в землю, Машина приволакивала новых” (ч. 2, гл. 4).

Солженицын берет стертое определение потока 37 — 38-го годов и тоже превращает его в грандиозную метафору “больших потоков, распиравших мрачные, зловонные трубы нашей тюремной канализации”. “По трубам была пульсация — напор то выше проектного, то ниже, но никогда не оставались пустыми тюремные каналы. Кровь, пот и моча — в которые были выжаты мы — хлестали по ним постоянно. История этой канализации есть история непрерывного заглота и течения, только половодья сменялись меженями и опять половодьями, потоки сливались, то большие, то меньшие, еще со всех сторон текли ручейки, ручеечки, стоки по желобкам и просто отдельные захваченные капельки” (ч. 1, гл. 2).

Законы Архипелага тоже описываются метафорой рождения, но не геологического, а биологического: “Закон-ребенок — Закон мужает — Закон созрел” (ч.1, гл. 8 — 10). Потом она тоже перебрасывается в конец книги (ч. 7, гл. 3) с финальным афоризмом: “Эту главу мы назвали “Закон сегодня”. А верно назвать ее: З а к о н а н е т… Вторые полвека высится огромное государство, стянутое стальными обручами, и обручи — есть, а закона — н е т”.

Большие процессы тридцатых годов, продукт деятельности созревшего Закона (ч. 1, гл. 10), изложены на театральном языке — как чудовищная трагикомедия. “Стандарт достигнут — и теперь может держаться многолетие и повторяться хоть каждый сезон — как скажет Главный Режиссер. Благоугодно же Главному назначить следующий спектакль уже через три месяца. Сжатые сроки репетиций, но ничего. Смотрите и слушайте! Только в нашем театре! Премьера…” — “С изумлением проглядел мир три пьесы подряд, три обширных дорогих спектакля…” — “При отъявленно восточном характере Сталина я очень верю, что он наблюдал за комедиями в Октябрьском зале”. — “Бухарину назначалась, по сути, заглавная роль — и ничто не должно быть скомкано и упущено в работе Режиссера с ним, в работе времени и в собственном его вживании в роль”. — “Так падает воля. Так вживаются в роль потерянного героя”. — “А кажется, только бы крикнуть! — и рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по черной лестнице режиссер, и суфлеры шнырнули по норам крысиным. И на дворе бы — сразу шестидесятые!”

Такие образные ряды напоминают старую поэтику риторических олицетворений и персонификаций: “Брега Невы руками плещут” (Ломоносов), “И всплыл Петрополь, как тритон” (Пушкин).

В грандиозный образ Архипелага-тритона, конечно же, не мог вписаться частный человек — ни как “типический” романный персонаж с психологией, ни как индивидуальный мемуарист со своей частной биографией. Судьбу человека на Архипелаге Солженицын представляет как описание коллективной судьбы.

“Этнографический очерк Фан Фаныча” “Зэки как нация” (ч. 3, гл. 19) — не просто пародия на “единственно-научное определение нации, данное товарищем Сталиным”. Сама установка на исчерпывающее описание предмета (территория расселения, экономический уклад, язык, мировоззрение и поведение) отвечает общему плану книги. Глава оказывается малым зеркалом, еще одним “кратким курсом”, оглавлением “Архипелага ГУЛАГ” как целого.

Поблагодарив во втором введении 227 своих “соавторов” (“Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку”), Солженицын, за редкими исключениями, не использует их материалы целиком. “Судьбы всех арестантов, кого я упоминаю в этой книге, я распылил, подчиняя плану книги  — контурам Архипелага. Я отошел от жизнеописаний: это было бы слишком однообразно, так пишут и пишут, переваливая работу исследования с автора на читателя” (ч. 4, гл. 4).

В контуры Архипелага, в его беспредельное, лютое, ледяное, голодное, смертное пространство вписывается образ Неизвестного Зэка, для которого названные и неназванные свидетели дают то факт, то историю, то какой-то мимолетный штрих.

Заглавные буквы в определении “Неизвестный Зэк”, впрочем, — дань прежнему Солженицыну. “В круге первом” герой, открывающий “расколосье мыслей” “России Десятых годов, последнего предреволюционного десятилетия”, отмечает особенность языка матери и ее поколения: “Старомодны были и самые слова, которыми выражались мама и ее подруги. Они всерьез писали с больших букв: Истина, Добро и Красота; Добро и Зло”.

В “Архипелаге” автор резко меняет перспективу. Теперь он пишет слова “добро” и “зло” со строчной, а большие буквы отдает противнику, превращая их в сатирическое воспроизведение языка новой эпохи: Передовое Учение, Единственно Верное Учение, Передовая Теория, Теоретические Основания (о марксизме-ленинизме), Демократия Нового Типа, Новое Общество, Новые Соловки, Тюрьма Нового Типа, Тюрьма Особого Назначения, Тюрьма Народов, Сроки с большой буквы (о двадцатипятилетних сроках), Большой Пасьянс (о бесконечном перемещении по лагерям социалистов, противников большевиков), Управление Мыслей и Чувств, Мудрый Указ, Большой Скачок, Великий Канал, Коллективный зубоскальный том (о той самой “позорной” писательской книге о Беломорканале под редакцией Горького, которая упоминается уже в третьем вступлении), Гуманист (о самом Горьком), Историк-Марксист, великий Аппарат, Большая Зона всей страны.

Особенно щедр автор на большие буквы для главного организатора и вдохновителя Архипелага. Подхватывая безудержно подхалимский стиль эпохи, называвшей Сталина Отцом и Лучшим Другом всех возрастов и профессий (он уже слегка затронут в “Круге первом”), Солженицын доводит его до гротеска, до абсурда. Перифрастические обозначения Вождя множатся и множатся, уходя в бесконечную перспективу: Великий Стратег, Главный Режиссер, Усатый Режиссер, Отец и Учитель, Милостивец, Великий и Гениальный, Лучший Друг заключенных, Лучший Друг чекистов, Мудрый, Хозяин, Кормилец, Великий Вождь, Учитель и Зиждитель, Великий Корифей, Папаша, Сам, Батька, Гениальный Стратег всех времен и народов, Всемогущий… В этот ряд, взрывая его, смачно вписываются прямые авторские оценки: Убийца, Главный Убийца, Большой Злодей, Великий Злодей, Мясник, Людоед.

Точно так же, играя в слова, горько каламбуря, автор обнажает смысл других заглавных букв советского новояза. “Год великого перелома” (коллективизации) превращается в Год Великого Перешиба, Великий Перелом русского хребта, Мужичью Чуму. Аббревиатура правящей партии со ссылкой на московских рабочих расшифровывается как Второе Крепостное Право (большевиков).

Большая буква в “Архипелаге ГУЛАГ” — это большая ложь.

Лишь в центральном символе да еще в двух-трех случаях за ней закреплен положительный смысл прежней культуры. “Фамилия!.. Я — Межзвездный Скиталец! Тело мое спеленали, но душа — не подвластна им” (ч. 2, гл. 4).

Так что имя главного героя книги логичнее писать не с большой, а с маленькой буквы. “Архипелаг ГУЛАГ” — книга-памятник неизвестному зэку.

Каждая глава — изображение очередного этапа его крестного пути по Архипелагу, или его преследователей и гонителей, или карающих учреждений государственной Машины. “Распыленные” биографии реальных людей укладываются в план книги по принципу монтажа однородных фрагментов (кинематографическая терминология и приемы не случайно потом окажутся столь важными в “Красном колесе”). Иногда эти истории-кадры довольно пространны. Но общий принцип композиции отчетливее проявляется там, где скорость изображения увеличивается, сюжеты-кадры начинают калейдоскопически мелькать, монтироваться как в немом кино, вызывая странное ощущение — несоответствия между серьезностью, трагичностью материала и мультипликационностью самого изображения (эстетическим результатом оказывается какой-то нервный, дребезжащий смех):

“Известен лагерный анекдот, что осужденная баба долго не могла понять, почему на суде прокурор и судья называли ее “конный милиционер” (а это было “контрреволюционер”!). Посидев и посмотрев в лагерях, можно признать этот анекдот за быль. Портной, откладывая иголку, вколол ее, чтобы не потерялась, в газету на стене и попал в глаз Кагановичу. Клиент видел. 58-я, 10 лет (террор)… Пастух в сердцах выругал корову за непослушание “колхозной б…” — 58-я, срок… 16-летний школьник-чувашонок сделал на неродном русском языке ошибку в лозунге стенгазеты. 58-я, 5 лет… Григорий Ефимович Генералов (из Смоленской области) обвинен: “пьянствовал потому, что ненавидел Советскую власть” (а он пьянствовал потому, что с женой жил плохо), — 8 лет” и т.д. (ч. 3, гл. 10 — всего в этом фрагменте “какие бывают контрреволюционеры” около сорока историй-кадров).

Образ, возникающий таким путем, весьма отличен как от традиционного романного характера, так и от свидетельства очевидца, фактичности мемуара. Его можно обозначить как образ-суммирование. Он не психологичен, а обобщенно-статуарен, ибо прямо выражает логику авторской мысли, иллюстрирует ее. В традиции ХIХ века ближе всего к Солженицыну оказывается, как ни странно, Чехов. “Остров Сахалин” — неожиданный, но прямой родственник “Архипелага ГУЛАГ”.

Как старые художники в углу большого полотна, автор — скромно, пунктиром — вписывает в историю неизвестного зэка и свой автопортрет (“Не как повод, не как довод, Тихой нотой в общий хор, В длящийся извечно спор Я введу свой малый опыт”). Он рассказывает историю своего ареста и следствия, пути в лагерь и на каторгу, жизни в ссылке, даже попытки вербовки сексотом. Он выходит за пределы Архипелага: вспоминает о юности и фронте, забегает вперед, обращаясь ко временам публикации “Одного дня Ивана Денисовича”, бесед с большими советскими начальниками, поездки на не нужный теперь никому Беломорканал в начале шестидесятых годов.

В целом эти фрагменты (их около тридцати) составляют страниц сто пятьдесят — скромную часть исследования могучего племени зэков. Причем автор как герой ничем не выделяется из общей массы: ни проницательностью, ни отвагой, ни иными нравственными качествами. Напротив, он все время подчеркивает, что, сложись обстоятельства по-иному, он мог бы оказаться на другой стороне, среди “Муравьевых, которые вешают”.

“Чтобы белыми мантиями праведников не шибко переполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя жизнь иначе — палачом таким не стал бы и я? Это — страшный вопрос, если отвечать на него честно… Я приписывал себе бескорыстную самоотверженность. А между тем был — вполне подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове — может быть, у Берии я вырос бы как раз на месте?..” (ч.1, гл. 4).

Но в книге есть и другая ипостась автора (здесь все-таки приходится написать — Автора). Это не персонаж, а субъект речи — историк, комментатор, судья времени и героев, в том числе и себя прежнего. В противоречии со всеми канонами “научности”, объективности, голос Автора звучит с каждой страницы книги, ни на минуту не оставляя нас наедине с голым фактом. “Исследование” Солженицына — “художественное” именно по причине пронизанности каждого фрагмента, каждой клетки повествования субъективной интенцией, пафосом, страстью. Причем диапазон авторского голоса очень широк — от злой сатиры до лирики, от ораторского пафоса до нейтрального “белого” голоса при описании жуткого быта “Архипелага”.

Так в смене тонов, по кочкам эмоций нас проводят, протаскивают через полторы тысячи страниц.

Образ Архипелага строится на фоне других текстов, так или иначе затрагивающих лагерную тему, или просто “упоминательной клавиатуры” из сотен имен, названий, цитат.

В круге первом — выходцы с Архипелага, писатели и мемуаристы, в которых Автор видит то соратников (это прежде всего Шаламов: “одна голова пловца в рассветном море увидела другую и крикнула хрипло” — ч. 3, гл. 7; отношения с “новой прозой” у Солженицына, однако, сложны: он воспринимает “Колымские рассказы” под знаком чистого свидетельства), то информантов (А. Побожий, Е. Гинзбург), то непримиримых противников (спор с Г. Шелестом, А. Алдан-Семеновым, Б. Дьяковым может показаться затянутым: это дань литературной ситуации начала шестидесятых, когда эти авторы усиленно выдвигались советской идеологической машиной в качестве оптимистического противовеса пессимизму “Одного дня Ивана Денисовича”).

В характерной язвительно-придирчивой манере разбирает Солженицын “позорную книгу о Беломорканале, впервые в русской литературе восславившую рабский труд”, пьесу Н. Погодина “Аристократы”, мемуарные оправдания И. Эренбурга.

Книги о тюрьме, каторге и ссылке дореволюционной (“Записки из Мертвого дома” Достоевского, “В мире отверженных” П. Якубовича — странно, что среди них нет “Сибири и каторги” С. Максимова) становятся для Автора поводом постоянного сравнения России и СССР (о чем чуть позже) и вытекающего из этого иронически-снисходительного отношения к их авторам. “На Акатуйской лютой каторге (П. Ф. Якубович, 1890-е годы) рабочие уроки были для всех выполнимы, кроме него…Что до омской каторги Достоевского, то там вообще бездельничали, как легко установит всякий читатель. Работа у них шла в охотку, впритруску, начальство даже одевало их в белые полотняные куртки и панталоны! — ну куда ж дальше?” (ч. 3, гл. 7).

Наряду с этими постоянными ориентирами Автор включает в текст пестрый литературный сор. Имя-сигнал, цитата-цикада, реминисценция-рыбка может мелькнуть в любом месте, по вполне неожиданному поводу.

“Что изменнику блаженства звуки?..” — неназванные блоковские “Шаги командора”, характеристика Дон Жуана, переносятся на русских пленников сорок пятого года (ч. 1, гл. 6).

“Надо, чтобы заключенный, еще не выйдя из лагеря, уже “воспитался к высшим социалистическим формам труда”. А что нужно для этого?.. Застопорился шуруп. Ах, бестолочь! Да соревнование и ударничество !! Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе? “Не просто работа, а работа героическая!” (Приказ ОГПУ № 190)” (ч. 3, гл. 3). Раскавыченные строки Пастернака (книга “Сестра моя жизнь”, “Про эти стихи”) озорно вклеены между чекистскими цитатами из сборника “От преступления к труду”.

“Когда русская проза ушла в лагеря, — догадался советский поэт” (ч. 3, гл. 18). Догадался тогда еще не опубликованный Слуцкий.

В книге вспоминаются (назовем в порядке предъявления — и весьма неполно) Маяковский, Гарин-Михайловский, Замятин, Шекспир, Твардовский, Шолохов, Набоков, Кестлер, Нароков, Макаренко, Короленко, Бальзак, Грин, Пруст, Эпикур, Есенин, Тынянов, Пришвин, Герцен, Ю. Крыжанич, М. Шагинян, Вл. Соловьев, Ю. Домбровский, Оруэлл, Т. Мор, Крылов, Шевченко, Н. Мандельштам, Л. Чуковская, Брешко-Брешковский, Хемингуэй, Войнич, Бернс, Державин и, конечно, весь первый ряд русской классики ХIХ века.

В этот не по-лагерному густой литературный бульон Солженицын погружает и своего героя. В рассказе о “туземном быте” (ч. 3, гл. 7) свое веское слово, откликаясь на авторский призыв, вставляет Иван Денисович Шухов. “— Ну, Иван Денисович, о чем мы еще не рассказали? Из нашей повседневной жизни? — Ху-у-у! Еще и не начали. Тут столько лет рассказывать, сколько сидели”. К “Одному дню…” своего героя Автор добавляет в “Архипелаге…” еще несколько страниц.

Литературный слой книги должен стать (и станет) предметом особого разговора. Как ни странно, точкой отсчета в разнообразных притяжениях и отталкиваниях становится для Солженицына не Достоевский с “Записками из Мертвого дома” или кто-либо другой из старых экспертов по “безднам”, а спокойный, простой, непритязательный Чехов.

“Окунаясь в Чехова” (заглавие записок конца девяностых годов), Солженицын обнаружил там много чуждого себе. Слегка прикасаясь к нему во время работы над “Архипелагом”, он вдруг увидел за близорукостью героев авторские зоркость и глубину.

“Чеховский текст” в книге начинается мощным и страшным периодом. “Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через двадцать-тридцать-сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие (“секретное тавро”), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого легкого — пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, — ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом” (ч. 1, гл. 3).

Но потом “Остров Сахалин” (как мы уже упоминали, структурно близкий солженицынской книге) многократно используется как достоверный источник для сопоставлений условий жизни сахалинских каторжников и архипелаговских зэков (всегда в пользу первых). В тексте появляются чеховские словечки, герои и образы: барон Тузенбах, три сестры, человек в футляре, лопнувшая струна, недотепы. Возникает обязывающее и почетное для каждого писателя определение “чеховская Россия”. “Но пусть читатель вообразит себя человеком чеховской и послечеховской России, человеком Серебряного Века нашей культуры, как назвали 1910-е годы…” (ч 3, гл. 1).

Наибольшее сближение происходит в главе “Зэки как нация”. Рассуждая об особой предрасположенности своего главного героя к фатализму, сочетающемуся с поразительным жизнелюбием, Автор опять привлекает на помощь Чехова. “Может быть, читатель больше поверит в эту парадоксальную черту, если мы процитируем Чехова. В его рассказе “В ссылке” перевозчик Семен Толковый выражает это чувство так: “Я …довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай Бог всякому такой жизни. — (Курсив наш.) — Ничего мне не надо и никого не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет”. Эти поразительные слова так и стоят у нас в ушах: мы слышали их не раз от зэков Архипелага (и только удивляемся, где их мог подцепить А. П. Чехов?). И дай Бог всякому такой жизни! — как вам это понравится?” И еще через две страницы — о тайной жажде справедливости как “национальной слабости” зэка: “Это странное чувство наблюдал и Чехов на острове совсем впрочем не нашего Архипелага… (следует цитата из “Острова Сахалин” — И. С.) Хотя наблюдения Чехова ни с какой стороны не относятся к нашему случаю, однако они поражают нас своей верностью”.

Не сидевший, а только видевший, причем ту, легкую, царскую каторгу писатель оказывается более проницательным, чем инженеры человеческих душ, посетившие Беломорканал на белом пароходе.

Но главным литературным собеседником и союзником Солженицына в “Архипелаге” оказывается даже не Чехов, а Владимир Даль.

Автор упоминает, что второй том далевского словаря был единственной книгой, которую он довез до Экибастузского лагеря и читал “после ужина и во время нудных вечерних проверок”(ч. 5, гл. 5).

Пословицы в “Архипелаге” претендуют на статус итоговой оценки, последнего слова.

Архипелаговский “малый Даль” состоит примерно из 80 позиций, исключая отдельные слова, но включая новейшие лагерные афоризмы. Больше всего их в третьей, главной, лагерной части — “Истребительно-трудовые”. Пословицы оказываются не просто житейской мудростью, но — философией того “бесписьменного народа”, голосом которого чувствует себя Автор. “Я пишу за Россию безъязыкую и потому мало скажу о троцкистах: они все люди письменные, и кому удалось уцелеть, те уж наверно приготовили подробные мемуары и опишут свою драматическую эпопею полней и точней, чем смог бы я” (ч. 3, гл. 10).

В народной мудрости открывается ее сократический характер, парадоксальная диалектика крайностей, живая противоречивость, ситуативность, возможность обоснования прямо противоположных жизненных установок и позиций. “На всякого Егорку есть поговорка”.

“Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок. (Так-то оно так, но — если и сухаря нет?..)” (ч. 4, гл. 1). “Заключил же подгнетный народ: благостью лихость не изоймешь” (ч. 5, гл. 10). Добро и зло, благость и лихость представлены тут в их непримиримости. Но вот в одной фразе прямо противоположный образ мира: “От добра до худа один шаток, говорит пословица. Значит, и от худа до добра” (ч. 1, гл. 4).

“Самое главное в жизни, все загадки ее  — хотите, я высыплю вам сейчас? Не гонитесь за призрачным — за имуществом, за званием: это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью — не пугайтесь беды и не томитесь по счастью, все равно ведь: и горького не довеку, и сладкого не дополна” (ч. 2, гл. 4). “И еще разобраться надо — что радость, а что горе. Правило жизни твое теперь такое: не радуйся нашедши, не плачь потеряв” (ч. 4, гл. 1). Точный смысл народной поговорки вроде бы свидетельствует о спокойном фатализме, олимпийском равнодушии к жизни нации зэков и солидарного с ними Автора. Но когда заходит речь о лагерном восстании, о сорока днях Кенгира (словно сорок лет Моисея на пути к свободе), он же находит другое слово, поддерживающее их решимость идти до конца. “Зэки не в шутку готовились выходить с пиками против пулеметов. Кто и не был готов — подичась, привыкал. Лихо до дна, а там дорога одна” (ч. 5, гл. 12).

Наглядней всего эта игра контрастами представлена в первом введении, в притче о тритоне. “Неожиданным поворотом нашей истории кое-что, ничтожно малое, об Архипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони: “Не надо!.. Не надо ворошить прошлое!.. Кто старое помянет — тому глаз вон!” Однако доканчивает пословица: “„А кто забудет — тому два!"”

Кольцуется “малый Даль” в “Архипелаге” дважды повторенным в конце шестой и начале седьмой части: “А может быть, не надо так строго судить? Может быть, в этом — средняя человечность? Ведь о ком-то же составлены пословицы: “Час в добре пробудешь — все горе забудешь. Дело-то забывчиво, тело-то заплывчиво”. Заплывчивое тело! — вот что такое человек!..”; “Уж мой ли язык забыл вкус баланды? — я ведь клялся не забывать. Уж я ли не усвоил природы собаководов? Уж я ли, готовясь в летописцы Архипелага, не осознал, до чего он сроден и нужен государству? О себе, как ни о ком, я уверен был, что надо мною не властен этот закон: “Дело-то забывчиво, тело-то заплывчиво”. Но — заплыл… Но — влип… Но — поверил…”

Альтернативы, второго полюса у этой пословицы вроде бы нет. Однако опровержением слабости забывчивого тела и умысла забывчивого дела становится вся книга.

Сталкиваясь и снова расходясь, “рассеянные” атомы реальных жизней складываются в огромную мозаичную картину российской трагической судьбы-участи в ХХ веке.

Пересказывая сцену одного из очерков о постройке заключенными бесполезной “мертвой дороги” в тундре, Солженицын назовет это трудовое свершение “Илиадой сталинской эпохи” (ч. 3, гл. 22).

В другом месте сходное сравнение возникает в ироническом контексте: “Наши русские перья пишут вкрупне. У нас пережито уймища, а не описано и не названо почти ничего, но для западных авторов с их рассматриванием в лупу клеточки бытия, со взбалтыванием аптечного пузырька в снопе проектора — ведь это эпопея, это еще десять томов “Поисков утраченного времени”: рассказать о смятении человеческого духа, когда в камере двадцатикратное переполнение, а параши нет, а на оправку водят в сутки раз!” (ч. 2, гл. 2).

А вот о том же совершенно всерьез, в лирическом фрагменте о пути-дороге получившего срок узника на первый остров Архипелага: “И что за дыхание — по часам и суткам, когда вы вступили в страну эпоса? Приход и уход разделяются здесь десятилетиями, четвертью века. В ы н и к о г д а н е в е р н е т е с ь в прежний мир! Чем скорее вы отвыкнете от своих домашних и домашние отвыкнут от вас — тем лучше. Тем легче…Тянутся с острова на остров Архипелага тонкие пряди человеческих жизней. Они вьются, касаются друг друга одну ночь вот в таком стучащем полутемном вагоне. Потом опять расходятся навеки — а ты ухо приклони к их тихому жужжанию и ровному стуку под вагоном. Ведь это постукивает — веретено жизни” (ч. 2, гл. 1).

Веретено этих жизней как будто плетут богини Парки. История путешественника, который никогда не вернется домой, кажется “Одиссеей” без счастливого финала (“Одиссей возвратился, пространством и временем полный”). Страна эпоса требует соответствующих масштабов для рассказа о ней.

Эпопея — сказание о единстве нации; ее предмет — идеальное прошлое, которое служит опорой для современности и надеждой на будущее; ее персонажи — герои, образец для подражания и укор последующим поколениям. Илиада сталинской эпохи повествует об ином, прямо противоположном состоянии мира: расколе, национальном унижении, прошлом, о котором не хочется вспоминать.

“Архипелаг ГУЛАГ” — “Илиада наизнанку”, негативная эпопея, история не победы, а поражения.

После смерти Сталина, после ХХ партийного съезда, в эпоху “оттепели”, в хрущевское десятилетие, существование Архипелага было официально признано и осуждено. Публикация “Одного дня Ивана Денисовича”, некоторых других художественных произведений и мемуаров, книг репрессированных писателей была подана как торжество справедливости, преодоление того, что витиевато называлось “нарушениями социалистической законности в период культа личности”. На ХХII съезде (1961) была принята новая программа с замечательным финалом: “Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!” Казалось, вернулся (не по службе, а по душе) энтузиазм первых советских десятилетий, подпитываемый комсомольскими стройками, целиной, приподнятием железного занавеса (московский международный фестиваль, спортивные обмены), полетами в космос и поэтическими вечерами на стадионах. Прошлое представало в далевой перспективе, в романтической дымке оптимистической трагедии, где жертвы пусть и неизбежны, но не напрасны.

Автор “Архипелага” беспощаден к таким умонастроениям. Трудно сегодня представить число и мощь идеологических мифов, которым он объявил войну на истребление.

Первым рушится миф о Втором Вожде. Отец народов, руководитель коммунистической партии и государства в течение тридцати лет, лидер коммунистического и рабочего движения оказывается (как мы уже видели) холодным и расчетливым убийцей, губителем и душителем миллионов, реализовавшим самые мрачные образы тоталитарной, тиранической власти. “Оказался наш Отец Не Отцом, а сукою”.

“Сброд тонкошеих вождей” сталинской эпохи оказывается ничем не лучше вожака. Самодовольные недоучки, не знающие ни страны, ни народа, холодные фанатики-убийцы, истеричные утописты — все они представлены как достойные соратники-соучастники: позер и безумный ультрареволюционер Троцкий, Бухарин, вместе с подготовленной толпой освистывающий немецких социалистов, приехавших на московский процесс защищать своих соратников, а потом легко сдающийся на милость победителя, беспощадный Дзержинский, губитель тамбовских крестьян Тухачевский. Все они — по пословице — роют яму другим, а потом попадают в нее сами.

Вопреки легенде, созданной самими сталинскими соратниками, Солженицын убежден, что “тридцать седьмой год” был не общенациональной катастрофой.

Атаке подвергается и более могучий миф советской истории — миф о Великой Отечественной войне, великой победе под руководством Верховного Главнокомандующего. “Так сколько же од! Сколько обелисков, вечных огней! романов и поэм! — да четверть века вся советская литература только этой кровушкой и напоена” (ч. 6, гл. 2).

В споре с официозом — “Идет война народная” — Солженицын предлагает свой вариант альтернативной истории. На фоне растленных, ничтожных советских генералов “только н и з ы солдатско-мужицко-казацкие замахнулись и ударили”. Движение власовцев было возможностью “некой новой пугачевщины”. Сам генерал оказывается не иудой, а ее неудачливым вождем: “снова наша не взяла” (в награду после публикации “Архипелага” автор получает кличку “литературный власовец”).

“Так вот, на гордость нашу показала советско-германская война, что не такие-то мы рабы, как нас заплевали во всех либерально-исторических исследованиях: не рабами тянулись к сабле снести голову Сталину-батюшке. (Да не рабами и с э т о й стороны распрямлялись в красноармейской шинелке, — эту сложную форму краткой свободы невозможно было предсказать социологически.)” (ч. 5, гл. 1). “Крамольное” суждение иронически подпирается цитатой из Ленина.

Образ легко справляется с идеологическими штампами. Но версия Солженицына вступает в полемику не только с ними. Военному официозу, спекуляциям на солдатской крови противостоял и “Василий Теркин” Твардовского, где создан совсем иной образ народной войны. На фоне поэмы Твардовского (и идущих в ее русле авторов солдатской и “лейтенантской” прозы) исследование Солженицына в очередной раз обнаруживает свою художественную природу. Утопический эпос с патриотической идеей общей участи и совместной защиты родной земли всеми, от генерала до простого солдата, вступает в конфликт с негативной эпопеей о восставшем против тирана, но потерпевшем неудачу народе. “Сложная форма краткой свободы” (замечательное определение ситуации военных лет) представлена в двух логически несовместимых, но психологически убедительных версиях.

В подзаголовке книги стоят даты: 1918 — 1956. Разделываясь с мифами сталинской эпохи, Автор все время держит под прицелом Первого Вождя. Антиленинский пафос “Архипелага” не менее очевиден, чем антисталинистский, и более поразителен, ибо Солженицын шел против мощного идеологического течения (противопоставление “хорошего” Ленина “плохому” Сталину было главным либеральным убеждением эпохи написания книги). В то же время образ конструировался из всем известных материалов, напоминал то, что было обязательным элементом образования для любого советского человека.

Автор всего-навсего открывает на нужных страницах и читает свежими глазами в знакомой уже нам манере “заметок на полях” знаменитые синие тома пятого издания ленинского Полного собрания сочинений. (Помню, при первом чтении книги, в начале восьмидесятых, специально выписывал ссылки на источники: трудно было поверить, что это находится не в спецхране, а стоит на полке в любой библиотеке.)

Оказывается, что основатель советского государства был не менее беспощаден и кровожаден, чем его последователи, что указания о расстрелах так и сыпались из его распоряжений и писем (“Как подкову, дарит за указом указ: Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз”), что понятие-символ ХХ века тоже выпорхнуло из его записей (“Так вот г д е — в письме Ленина, а затем в декрете Совнаркома — был найден и тотчас подхвачен и утвержден этот термин — концентрационные лагеря — один из главных терминов ХХ века, которому предстояло широкое международное будущее!”), что террор он полагал необходимым при строительстве нового государства, что основы будущей сталинской 58-й статьи тоже были заложены в его “политическом завещании”.

В итоге История Государства Советского оказывается не гегелевским рядом отрицаний, поступательным движением Абсолютной Светлой Идеи (социалистическая революция как закономерная реакция на капиталистический строй — ленинская эпоха великих надежд и свершений — сталинский культ и нарушения социалистической законности — восстановление ленинских норм и зарево коммунизма на горизонте: нынешнее поколение советских людей…), а расползанием раковой опухоли, охватившей в конце концов всю страну. “И в предтюремные и в тюремные годы я тоже долго считал, что Сталин придал роковое направление ходу советской государственности. Но вот Сталин тихо умер — и уж так ли намного изменился курс корабля? Какой отпечаток собственный, личный он придал событиям — это унылую тупость, самодурство, самовосхваление. А в остальном он точно шел стопой в указанную ленинскую стопу и по советам Троцкого” (ч. 2, гл. 4). “Архипелаг был, Архипелаг остается, Архипелаг — будет!” (ч. 7, гл. 2).

1918 год в подзаголовке книги — дата рождения не только Архипелага, но и его летописца. Заглядывая с этой льдины в мир без него, в “Россию 1913 года” (обычный советский штамп, с ней сравнивали последующие достижения СССР), Солженицын видит там не гниль, убожество, свинцовые мерзости царизма и пр., а цветущую сложность, органический рост, едва ли не потерянный рай.

В той стране не было ничего подобного страшному голоду начала тридцатых: “Большую часть своей истории прежняя Россия не знала голода. “На Руси никто с голоду не умирывал”, — говорит пословица. А пословицу сбреху не составят” (ч. 3, гл. 5).

Зато там было общественное мнение, которым только и держится сопротивление за решеткой: “Русское общественное мнение к началу века составляло воздух свободы. Царизм был разбит не тогда, когда бушевал февральский Петроград, — гораздо раньше. Он был уже бесповоротно низвержен тогда, когда в русской литературе установилось, что вывести образ жандарма или городового хотя бы с долей симпатии — есть черносотенное подхалимство. Когда не только пожать им руку, не только быть с ними знакомыми, не только кивнуть им на улице, но даже рукавом коснуться на тротуаре казался уже позор” (ч. 5, гл. 4).

Тюрьма и каторга в той стране были игрушечными, ненастоящими, там можно было читать и писать книги, ехать в ссылку за собственный счет, охотиться, а если надоест — спокойно уехать за границу. Членов семьи изменников императору там не только не преследовали, но платили им пенсии, позволяли учиться в университетах, продвигали по службе. На этой почве и вырастали умницы-инженеры, патриоты-военные, настоящие революционеры, ухватистые мужики, домашние философы, которые определяли не только то, но и последующее время. “Среди многих потерянных мерок мы потеряли еще и такую: высокостойности тех людей, которые прежде нас говорили и писали по-русски. Странно, что они почти не описаны в нашей дореволюционной литературе. У нас описаны то лишние люди, то рыхлые неприспособленные мечтатели, По русской литературе ХIХ века почти нельзя понять: на ком же Русь простояла десять столетий, кем же держалась? Впрочем, не ими ли она пережила и последние полвека? Еще более — ими. А то — и мечтатели. Они видели слишком многое, чтобы выбрать одно. Они тянулись к возвышенному слишком сильно, чтобы крепко стоять на земле, Перед падением обществ бывает такая мудрая прослойка думающих — думающих и только” (ч. 1, гл. 5).

Солженицын — не первый и не последний человек, который упрекает русскую литературу золотого века в том, что за лишними людьми она не увидела самого золотого века. Разрушая советский миф о мрачной старой России, он, кажется, создает новый. У тех, кто видел ту жизнь в упор (не только у желчного Салтыкова и неистового Сухово-Кобылина — его драмы о неправедном Законе “Дело” и “Смерть Тарелкина” — вещи совершенно “гулаговские”, но и у мягкого Тургенева, трезвого Чехова, объективного Бунина), возникает иной образ российской жизни, весьма далекий от гармонии. Но сравнение нужно автору “Архипелага” как точка опоры в перевернутом мире, как свет в далеком окне, позволяющий сохранить надежду.

В примечании к только что процитированному фрагменту (напор материала так велик, что Солженицын многое важное вводит в книгу именно так, мимолетным штрихом, пробросом) сказано: “Я робею сказать, но перед семидесятыми годами века и те и другие (высокостойные люди и мечтатели. — И. С.) как будто выступают вновь. Это удивительно. На это почти и нельзя было надеяться”. И еще в другом месте, при характеристике 37-го года, оказавшего влияние не столько на Архипелаг, сколько на волю (“именно этот год сломил душу нашей воли и залил ее массовым растлением”): “Но даже это не было концом нашего общества! (Как мы видим теперь, конец вообще никогда не наступил — живая ниточка России дожила, дотянулась до лучших времен, до 1956, а теперь уж тем более не умрет.)” (ч. 4, гл. 3).

Живая ниточка России представлена в книге судьбами отдельных людей, сохранившими душу в пространстве всеобщего страха, насилия и растления. В контрасте с доминирующей установкой на распыление и обобщение конкретных биографий одна из глав (ч. 4, гл. 4) так и называется  — “Несколько судеб”. “Я верую в отдельных людей”, — сказал по сходному поводу Чехов.

В момент появления, в исторических обстоятельствах семидесятых годов, “Архипелаг” воспринимался и в СССР и на Западе, и читателями в погонах и читателями-невидимками (официально в СССР книгу никто не читал) как подрывное произведение, социальный трактат, политический памфлет, альтернативная история. Но подлинный его замысел и смысл, авторская сверхзадача были иными.

В начале восьмидесятых в “очерках изгнания” “Угодило зернышко промеж двух жерновов”, думая о предложении поставить “Архипелаг” в кино, Солженицын записывает: “…главное — не утерять его общей тональности, не снизиться до памфлета, следить, чтоб не утерян был общий очистительный дух “Архипелага”, его катарсис”. Перечитывая книгу еще через двадцать лет, видишь, что ее пафос определен верно.

Солженицына обычно противопоставляют Шаламову как писателя социально-исторического писателю экзистенциальному, что справедливо только отчасти. В глубине грандиозной социальной фрески (она все-таки на первом плане) и в “Архипелаге” бьется отчетливый экзистенциальный пульс. Все объясняющим фактором оказывается в “исследовании” не история или социология, а этика. Но версии человеческой природы у двух главных в русской литературе ХХ века исследователей предельных ситуаций оказываются различными. В “Колымских рассказах” человека спасают (если спасают) культура, интеллект, одинокое противостояние злу. В “Архипелаге” в той же роли выступают религия, общественное мнение, семейная и родовая память.

Хождение по мукам неизвестного зэка ведет его (конечно, если он “жив остался”) к возрождению, возвышению. Сквозь трагедию миллионов просвечивает катарсис-очищение.

Высмеивая вопли “ортодоксов”, считавших только свой арест несправедливым, а всех остальных сидящими “за дело”, Солженицын обнаруживает в мире ГУЛАГа “чувство всеобщей правоты… ощущение народного испытания, подобного татарскому игу”.

Проблема “жестокого выбора” между “гибелью и спасением” — не только физическим, но и духовным — встает в, казалось бы, абсолютно лишенном выбора лагерном мире тотальной несвободы. “На гниющей лагерной тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце — и черезо все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискорененный уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра), — само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство” (ч. 4, гл. 1).

В этой перспективе путь неизвестного зэка по подвижной невидимой линии, по лезвию бритвы становится не растлением (“Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался или был к тому подготовлен”), а восхождением: “Сыпятся камни из-под наших ног. Вниз, в прошлое. Это прах прошлого. Мы подымаемся… И еще разобраться надо — что радость, а что горе. Правило жизни твое теперь такое: не радуйся, нашедши, не плачь, потеряв. Душа твоя, сухая прежде, от страдания сочает. Хотя бы не ближних, по-христиански, но близких ты теперь научаешься любить” (ч. 4, гл. 1).

На этом пути восхождения-преображения встречаются и глубоко верующие (“единственные политические в лагере”), и убежденные беглецы, и пролившие много крови солдаты и бендеровцы, восставшие в Кенгире, и даже убежденные большевики (“Все равно, — говорит Лощилин, — в душе я большевик. Когда умру — считайте меня коммунистом. Не то шутит, не то нет” — ч. 4, гл. 4).

Описание анатомии и физиологии Архипелага-тритона превращается, таким образом, в антропологическое исследование, которому специально посвящена четвертая часть — “Душа и колючая проволока”. Столкновение человека и системы переносится в глубь души, становится постоянным мучительным выбором между добром и злом.

Негативная эпопея вдруг оборачивается этической утопией.

С любыми утопиями время, которое называют историей, обходится беспощадно.

“В наши десятилетия идет общественная жизнь к расширению и полноте (вдох), а тогда она шла к угнетению и сжатию (выдох). Так не гоже нашей эпохе судить эпоху ту”, — написано при сравнении годов тридцатых и шестидесятых (ч. 6, гл. 1).

“Это были все одни и те же люди… — сказано о судьбе революционеров-социалистов в начале века и в те же проклятые тридцатые. — Однако тогда они шли в союзе со Временем и против слабнущего врага. А теперь против них в союзе были Время и крепнущий враг” (ч. 1, гл. 12).

Здесь предсказан парадокс позднейшей судьбы “Архипелага” и его автора. Многие годы Солженицын считал себя одиноким “теленком”, однако бодающимся с “дубом” в союзе со Временем — “в запас, в запас”, для “будущей России”. И вдруг с удивлением обнаружил (начало восьмидесятых, восемь лет жизни на Западе), что его в этом будущем не очень-то и ждут. “Десятилетиями я ощущал себя, может быть, единственным горлом умерших миллионов — против главного нашего всеобщего Врага. Таился, готовился, потом бился и положил все жизненные силы, и едва не саму жизнь, и рвал ту Твердыню подкопами, конспирацией, “Иваном Денисовичем”, “Кругом”, “Корпусом”, “Архипелагом”, — а оказалось? Что я только проложил проезжую дорогу для образованщины. Хлынули в этот прорыв и тут же освоились, будто никакого прорыва и не сделано, да и не нужен он был, и Главного Фронта даже не было. Изжито, забыто и пиво не в честь” (“Угодило зернышко промеж двух жерновов”, гл. 6).

В конце восьмидесятых годов отмеченный автором парадокс превратился в какой-то нестерпимый гротеск, немыслимый абсурд. Всеобщий Враг вдруг делает своему подрывнику царский подарок. В период перестройки и гласности, когда, по выражению какого-то остроумца, советскую власть уже можно было ругать за ее же счет, главы из “Архипелага” сначала печатаются в “Новом мире” (1988), в 1991 году миллионным тиражом первый том издается в составе собрания сочинений (второй и третий тома уже имели тираж “всего” восемьсот тысяч). Наверно, то были последние немыслимые, астрономические тиражи советской эпохи. Последний (по счету — четвертый) том “малого собрания сочинений” с “Раковым корпусом” подписан к печати в конце октября девяносто первого. Через два месяца власть соловецкая ушла вместе с властью советской, но вместе с ней исчезла и та страна — СССР. “Целились в коммунизм — попали в Россию”, — скажет перед смертью один яростный диссидент (В. Максимов).

Где оказались синие книжки журнала и серые томики собрания через год-два? В развалинах Грозного и на квартирах внезапных “заграничных” интеллектуалов из Таллинна, Тбилиси и Ашхабада, на крымских свалках, куда свозили литературу из ликвидируемых русских библиотек, на антресолях рванувших по миру инженеров-челноков, на книжных полках западных славистов и русских школьников в качестве утомительного обязательного чтения?

Книга, писавшаяся на явном историческом “вдохе”, вернулась к массовому русскому читателю в тот момент, когда ни вектор времени, ни лицо Врага определить стало невозможно.

“Я чувствовал себя — мостом, перекинутым из России дореволюционной в Россию послесоветскую, будущую, — мостом, по которому черезо всю пропасть советских лет перетаскивается тяжело груженный обоз Истории. Чтобы бесценная поклажа его не пропала для Будущего” (“Угодило зернышко…”, гл. 7).

Вернувшись в родную страну, в третий раз за двадцатый век сменившую название и границы, Солженицын обнаружил, что исторический мост висит над пустотой и бесценную поклажу пока передать некому.

“Россия в обвале” (1998) стала его первой новой книгой.

“История России особенно трагическая, И в ней нынешняя политика еще дальше от нравственности. После семидесяти лет тоталитарного гнета Россия попала в разрушительный вихрь грабежа национального достояния и населения. Наш народ еще не успел встать на ноги”, — говорил Солженицын в последние дни года и века. Хотя, как и раньше, не мог отказаться от надежды: “В этих условиях о России говорят, что Россия погружается в “Третий мир”. Я с этим не согласен. Я всегда верил в то, что наша традиционная культура, наш дух сильнее гнетущих материальных обстоятельств”.

“Архипелаг ГУЛАГ” в новой России, кажется, не издавался ни разу.

В истории с “Архипелагом” История как будто еще раз разыграла гоголевский сюжет. Автор хотел открыть людям очи внутрь души, вразумить Отечество, направить его на истинный путь, рассматривал свою книгу как “сверхлитературу” — а ему хлопали (или шикали), дарили бриллиантовый перстень (или Нобелевскую премию) — и спокойно уходили из театра по своим делам (или ставили книгу на полку).

“В нашем славном отечестве самые важные и смелые книги не бывают прочитаны современниками, не влияют вовремя на народную мысль (одни потому, что запрещены, преследуются, неизвестны, другие потому, что образованные читатели заранее от них отвращены). И эту книгу я пишу из одного сознания долга… Я не чаю своими глазами видеть ее напечатанной где-либо; мало надеюсь, что прочтут ее те, кто унес свои кости с Архипелага; совсем не верю, что она объяснит правду нашей истории тогда, когда еще можно будет что-то исправить” (ч. 3, гл. 7).

Не чаю и мало надеюсь в итоге не оправдались, совсем не верю оказалось пророческим.

Кажется, есть горький и жестокий закон: событие теряет актуальность, становится в полном смысле слова историей, в которой ничего нельзя исправить, когда сходят со сцены его последние активные участники. Историческое “вовремя”, наверно, составляет лет тридцать, когда “дети” (в тургеневском смысле) становятся “дедами”.

В семидесятые годы книга Солженицына жгла. В девяностые, когда “зэки как нация” почти исчезли, когда спокойно дожили на своих дачах и пенсиях большие и малые создатели Архипелага, проблемы вины, ответственности, раскаяния приобрели академический характер.

В 1951 году, в Экибастузе, “на общих работах, устно” Солженицын сочинил комедию “Пир победителей”. В пьесе “Свеча на ветру” (1960, Рязань) герой собирается передать эту “колеблемую свечечку нашей души” следующему веку. “Там, в Двадцать Первом веке пусть делают с ней, что хотят. Но только б не в нашем ее задули, не в нашем — стальном, атомном, космическом, энергетическом, кибернетическом…” На пир победителей в канун двадцать первого века не были приглашены ни автор Архипелага, ни его герои, даже те немногие, кто дожили…

Новое русское поколение, вероятно, смотрит на эту книгу с тем же чувством, как и на Карамзина, Ключевского, Тацита.

Архипелаг — был? Или это страшная сказка, а военные сводки, взрывы на улицах, невозможность для одних свободных людей (не ссыльнопоселенцев) из деревни поехать в соседний город и возможность для других на своем самолете махнуть из этой страны в Париж или Рио-де-Жанейро — реальность. В общем, дело давнее. Но гвоздь у меня в ботинке кошмарней, чем фантазия у Солженицына. Как он старомоден со своими “совестью”, “народным благом”, “общественным мнением” и ролью писателя-борца, защитника униженных и оскорбленных…

“Мы просто перестаем быть единым народом, ибо говорим действительно на разных языках” (ч. 7, гл. 1).

Когда мимо новых и старых памятников одинаково равнодушно проходят люди, история, запекшаяся в слове, противостоит полярному морю забвения.

“Архипелаг ГУЛАГ” — книга великого гнева и большой любви, острого понимания и близоруких заблуждений, неуслышанных предостережений и несбывшихся пророчеств.

Этот неправдоподобный тритон навсегда вморожен в лед советской эпохи.